



ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА



А. М. Ранчин

О ПРИНЦИПАХ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нижеследующий текст посвящен некоторым проблемам изучения древнерусской литературы, представляющимся мне наиболее значительными. Это вопросы об объекте исследования и об исследовательском метаязыке (в частности, о языке, описывающем литературную динамику, историю древнерусской литературы)¹.

Знаменитый тыняновский вопрос «что такое литература?» [Тынянов, с. 255] в случае с памятниками древнерусской книжности приобретает особый смысл. Им, как известно, не свойственна художественность как автономная функция, их литературность латентна, она не является доминирующей. Древнерусская литература — не литература в собственном смысле слова, скорее, она может быть названа словесностью, если следовать разграничению «литература — словесность», принадлежащему С. С. Аверинцеву [Аверинцев, с. 13–76]². Таким образом, при выделении в обширном корпусе древнерусской письменности памятников литературы/словесности возникает вопрос о критериях отбора, о том, по каким признакам может быть определено, есть в том или ином тексте элементы литературности или нет. На практике при этом случаются досадные и курьезные казусы. Так, в серии «Библиотека литературы Древней Руси» были опубликованы и берестяные грамоты, и письма частного характера, принадлежащие царю Алексею Михайловичу, и даже древнейший законодательный свод Русская Правда, причем в двух редакциях³. Между тем для самих создателей эти тексты принадлежали к области быта, а не культуры; две эти области письменности разграничивались по языковому критерию: в первом случае использовался книжный язык — церковнославянский, во втором — древнерусский (ср.: [Успенский, с. 14–31, 86–111]). Однако оппозиция «тексты бытового назначения — тексты культуры» не совпадает с разграничением «древнерусские литературные памятники — нелитературные древнерусские тексты»⁴. Так, Кормчая книга относится к книжности (о чем свидетельствует ее язык; ср.: [Живов, 2002а, с. 197–290]), но не принадлежит к литературе/словесности. Так же обстоит дело и с большинством проложных житий, часто являющихся «литературно» не оформленными «дайджестами» пространных агиобиографий, в которых присутствует литературная установка.

¹ О неприменимости многих литературоведческих понятий при анализе древнерусских литературных памятников неоднократно писала Е. Л. Коныявская. См.: [Коныявская, 2001; Коныявская, 2003, с. 76; Коныявская, 2005].

² Напомню, что С. С. Аверинцев рассматривал как феномен словесности, а не литературы Библию, а библейские тексты являются образцом для древнерусских сочинений.

³ БЛДР. СПб., 1997. Т. II. XII век. С. 490–529; СПб., 2013. Т. XVII. С. 314–316.

⁴ Не соотносится она и с классификацией С. Франклина (письменность первого, второго, третьего рода) (ср.: [Франклин, с. 43–152]).

Однако границы между памятниками литературными в нестрогом смысле слова и текстами, не относящимися к литературе, в древнерусской письменности, несомненно, существуют: показательно, что ни берестяные грамоты, ни Русская Правда, ни частные письма Алексея Михайловича не рассматриваются в историко-литературных работах как «художественные» тексты⁵ — в отличие от посланий Ивана Грозного или протопопа Аввакума, тоже не являющихся литературными сочинениями в точном значении слова. Если знаменитую берестяную грамоту № 752 — любовное письмо знатной новгородки — еще можно рассматривать как некое подобие литературного текста, как отдаленный аналог письма Татьяны Онегину⁶, то бесчисленные записки от Пюряты Несдичу с настоятельной просьбой вернуть данные взаймы гривны и резаны или же статьи закона, предписывающие, сколько заплатить за убийство варяга и колбяга, никакой литературностью не обладают а priori.

В качестве литературных памятников должны публиковаться и изучаться древнерусские тексты, обладающие признаками литературности, «заложеными» в них самими книжниками. (Восприятие бытового или юридического текста как литературного феномена значимо в качестве характеристики культурных кодов реципиента, но не имеет никакого отношения к истории древнерусской словесности.) Каковы эти признаки? Очевидно, это наличие не только чисто коммуникативной прагматической установки, свойственной берестяным грамотам, в абсолютном большинстве своем предполагающим одноразовое использование и ориентированным исключительно на единичного адресата. (Послания Ивана Грозного, например, как известно, обладают иной установкой и обращены не только к конкретным и непосредственным адресатам.) Также несомненно, что таким критерием является — в терминах семиотических — установка не только на сообщение, но и на код. Не только на означаемое, но и на означающее: такая установка проявляется в использовании риторических средств (приемов выразительности) и элементов вымысла (интроспекция, всеведение повествователя, словно присутствующего при сценах, свидетелем которых он быть не мог⁷), в создании символического кода посредством цитат — тематических ключей (выражение Р. Пиккио [Пиккио, 2003в, с. 449–450, 485]). Даже фактографически точные подробности, детали, не обладающие явной символической функцией, могут, тем не менее, приобрести такие коннотации⁸.

⁵ См. об этом прежде всего: [Конявкая, 2003, с. 77].

⁶ См. об этой грамоте: [Зализняк, с. 229–233]. По непонятным причинам в подборку берестяных грамот в БЛДР как раз это письмо включено не было. Представление об этом любовном послании как о тексте литературном является, конечно же, примером aberrации восприятия; это случай, когда нехудожественный текст может быть воспринят реципиентом, принадлежащим к другой культуре, как художественный. Ср.: «Писатель создает текст не как произведение искусства, но читатель воспринимает его эстетически (например, современное восприятие сакральных и исторических текстов древних и средневековых литератур)» [Лотман, 1998, с. 272]; впрочем, новгородская берестяная грамота не является ни сакральным, ни историческим текстом.

⁷ Ср., например, повесть об убиении Андрея Боголюбского в составе Ипатьевской летописи: повествователю известны реплика князя, обращенная к стучащим в дверь опочивальни убийцам, жест князя Андрея, потянувшегося было за мечом святого Бориса, предсмертная молитва (ср.: ПСРЛ. М., 1908. Т. II. Ипатьевская летопись. Стб. 586–588). Этот и многие другие примеры опровергают утверждение Д. С. Лихачева, считавшего, что, «украшая свое повествование стилистически», составители летописей, житий и «разных сказаний» «не рискуют снабжать его откровенно вымышленными, оживляющими подробностями, всем тем, что со средневековой точки зрения не могло быть увидено, услышано свидетелями или описано в письменных источниках — в предшествующих повествованиях о том же, в документах, в летописи и т. д.» [Лихачев, 1986б, с. 98].

⁸ Отдельный вопрос, обсуждать который у меня здесь нет возможности: в какой степени «литературные», «художественные» приемы, как будто бы обнаруживаемые исследователем, отражают интенцию книжников, а не «вчитываются», не «вносятся» в текст самим ученым? В качестве спорных примеров выявления исследователем приемов в памятниках древнерусской словесности можно указать эффект остранения, создаваемый в Хожении Афанасия Никитина благодаря оппозиции церковнославянского/древнерусского и креолизованного арабо-персидско-тюркского языков [Трубецкой, 1983, с. 437–461], или намеренное чередование монотонных кратких записей и объемных портретов князей — медальонов в Повести временных лет [Трубецкой, 1995, с. 567–569]. Н. С. Трубецкой подходит к древнерусским памятникам с методологией ОПояЗа: результат оказывается на первый взгляд блестящим, но de facto не верифицируемым.



Ограничусь одним примером. Летописная повесть об ослеплении Василия II тяготеет к протокольной достоверности, но о присутствии в ней «сопутствующей», «аккомпанирующей» литературной установки свидетельствуют сравнения: «И какъ явишася, скачюще на конех з горы тоя, к селу Климентиевскому, яко же на ловъ сладок», «А они, убийци, яко свѣрѣпни волци, възгониша на монастырь на конех». Следующее за вторым сравнением повествование об одном из бояр, участвующих в захвате московского князя, сопровождается выразительными деталями: «преж всѣх Микита Костянтинович, и на лѣствицу на конѣ къ преднимъ дверемъ церковнымъ. Пошедшу ему с коня, и заразися о камень, иже предверми церковными въздѣлан на примостѣ. И притекшѣ прочии, въздняша его, он же едва отдохну, и бысть яко пьянъ, а лица его, яко мерьтвецю бѣ»⁹. Сравнение разбившегося при падении боярина с пьяным, а его лица с лицом мертвеца передает не только внешние, визуально воспринимаемые проявления травмы. Никита Константинович и до падения ведет себя как невменяемый, кощунственно вторгаясь верхом в пределы сакрального пространства. Он обуян, одержим. Но одно из значений лексемы «пьяныи» в древнерусском (церковнославянском) языке — «опьяненный, возбужденный»; в Пчеле говорится: «омраченъ сыи и пьянъ гнѣвомъ»¹⁰. В этом смысле боярин «пьян» еще до падения, являющегося наказанием за надменность и кощунство — граничный камень повергает его наземь. Мертвенность лица не только свидетельство наказания-предостережения, «малой», «временной» смерти, происходящей с разбившимся нечестивцем. Это и знак принадлежности нечестивца к изнаночному, бесовскому миру — области вечной смерти. Маркером, указывающим на символический характер этих деталей, и является сравнение врагов Василия с волками, имеющее не предметный, не фактический (волки на конях не ездят), а ценностный, оценочный и символично-метафорический характер, — сравнение «по функции», традиционное для средневековой русской книжности (ср. об этих сравнениях: [Лихачев, 1987, с. 22–23]).

Другой не менее важной проблемой является историко-литературное изучение памятников, несомненно принадлежащих к литературным в широком смысле слова, но отличающихся высокой мерой трафаретности как плана содержания, так и плана выражения. Гимнография, едва ли не единственная сфера древнерусской словесности, организованная по жанровому признаку (и в этом отношении отчетливо «литературная»)¹¹, не стала предметом истории литературы как особой разновидности филологического дискурса: отдельные работы, посвященные богослужебным памятникам, существуют, хотя их и немного, но академические истории литературы (и тем более учебники и курсы лекций) ее полностью игнорируют¹². Отчасти аналогичная ситуация сложилась в изучении агиографии. В историко-литературных работах, посвященных динамике древнерусской словесности в целом, предметом внимания оказываются лишь отдельные житийные тексты, признаваемые наиболее яркими и оригинальными. Заведомо очевидно, что в такого рода работах Сказание о Борисе и Глебе будет рассмотрено весьма подробно, в то время как Чтение о Борисе и Глебе Нестора лишь упомянуто, а Сказание о чудесах Романа и

⁹ БДР. СПб., 1999. Т. VI. XIV — середина XV века. С. 500.

¹⁰ Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Труд И. И. Срезневского. СПб., 1902. Т. II. Л—П. Стб. 947. Ср.: «Пчела»: Древнерусский перевод / Изд. подгот. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева. М., 2008. Т. I. С. 184. Л. 60 об.

¹¹ Так, Г. Ленхофф склонна только в памятниках этого рода усматривать устойчивые жанровые признаки, в то время как в остальных древнерусских произведениях она обнаруживает лишь признаки протожанровые [Lenhoff, 1984, p. 31–54; Lenhoff, 1987, p. 259–271; Lenhoff, 1989, p. 24–25].

¹² Мало того, богослужебные тексты не учтены даже в претендующем на полный охват памятников древнерусской словесности «Словаре книжников и книжности Древней Руси» (точнее, они упоминаются только в статьях, посвященных их авторам, если таковые известны и написали не только тексты такого рода, но и иные сочинения — жития, летописные повести и т. д.). Одно из исключений — книга Г. Подскальски [Подскальски, с. 376–395], в которой богослужебная книжность, в том числе собственно церковные службы, рассмотрена, однако эта работа является не столько историко-литературным исследованием, сколько словарем-справочником.

Давида вообще проигнорировано. Точно так же абсолютное предпочтение будет отдано Житию Феодосия Печерского в сравнении, например, с Памятью и похвалой князю Владимиру Иакова Мниха или с Житием Леонтия Ростовского. Между тем исследовательский выбор далеко не всегда совпадает с предпочтениями древнерусских книжников и их аудитории. Количество списков Сказания о Борисе и Глебе на порядок превосходит число рукописей Несторова Чтения¹³, что бесспорно свидетельствует о признании превосходства Сказания — памятника, отличающегося эстетическим совершенством и эмоциональностью. Однако и жития, не отличающиеся изощренностью поэтики и по преимуществу в лучшем случае лишь варьирующие и расцветивающие традиционные агиографические модели, могли пользоваться высоким авторитетом: самый показательный пример — агиобиографии Пахомия Серба. В памятниках же, признаваемых шедеврами древнерусской книжности, хотя и основанных на агиографической топике, акцентируется не варьирование и обновление топов, а редкие случаи их разрушения. К примеру, ни одна характеристика Жития Феодосия Печерского не обойдется без указания на далекий от трафарета образ матери святого¹⁴.

Искажающий эффект возникает также из-за того, что объектом изучения и описания оказываются в первую очередь произведения, лежащие у истоков той или иной линии словесности — первые образцы того или иного «жанра»¹⁵. Поэтому Хождение игумена Даниила займет в историко-литературных исследованиях и особенно в историко-литературных обзорах почетное место, а хождения Добрыни Ядрейковича или Стефана Новгородца окажутся в небрежении.

Общая динамическая картина древнерусской словесности несет на себе следы аберрации, присущей эстетическим вкусам позднейшей эпохи: властвует критерий оригинальности, и на первый план выдвигаются не наиболее распространенные произведения (словесность преимущественно переводная, гимнография, жития святых), а произведения наиболее оригинальные, такие как Слово о полку Игореве, подлинность которого не случайно оспаривалась именно из-за его непохожести на другие памятники древнерусской словесности, или Слово/Моление Даниила Заточника. Между тем памятники этого рода именно по причине своей уникальности не могут быть однозначно вписаны в историко-литературный контекст и по существу не могут рассматриваться как объект историко-литературного описания. В случае со Словом о полку Игореве неясными оказываются и контекст (является ли он преимущественно фольклорным или книжным?), и роль языческих элементов и их соотношенность с элементами христианскими, и «жанр»¹⁶. Слово/Моление Даниила Заточника в плане идейной позиции трактуется то как апология сильной власти — панегирик холопскому состоянию [Данилевский, с. 324] и прославление автократии, «подлинный гимн княжеской власти» [Юрганов, с. 230], то как «трансмутация Книги пророка Даниила», переворачивающая «библейский сюжет... с ног на голову» и являющаяся «юридическим антигимном холопскому состоянию» [Гончаров, с. 92–102].

¹³ С. А. Бугославским был учтен в 1940 г. 171 список Сказания [Бугославский, с. 15]. В современном научном издании памятников Борисоглебского цикла, осуществленном Дж. Ревелли, приводятся сведения о 226 списках [Revelli, p. 1–82]. С. А. Бугославский рассмотрел 19 списков Чтения [Бугославский, с. 211]; Дж. Ревелли указала 26 списков [Revelli, p. 581–590].

¹⁴ Ср., например, оценку, принадлежащую В. П. Адриановой-Перетц и И. П. Еремину: «Рассказ Нестора об отношениях между Феодосием и его матерью — один из наиболее ярких эпизодов жития, характеризующий Нестора как глубоко и образно мыслящего писателя... Нестор талантливо и правдиво обрисовал горячую материнскую любовь, граничащую со страстной жестокостью и отчаяньем» [Адрианова-Перетц, Еремин, с. 330].

¹⁵ Предпочитаю в данном случае помещать понятие «жанр» в кавычки, так как существование жанров в древнерусской словесности проблематично. Ср. обзор различных концепций и мою точку зрения в статье [Ранчин, 2003, с. 574–589] (здесь же — ряд соображений, относящихся к историко-литературному изучению древнерусской книжности); перепечатано с исправлениями в моей книге [Ранчин, 2011, с. 37–74].

¹⁶ Ср. об этих проблемах [Ранчин, 2012, с. 30–42, 81–130]. Ср. о замкнутом круге, в который попадает интерпретатор памятника, не знающий его контекста и, соответственно, определяющий его структуру во многом наугад и на ощупь [Гаспаров, с. 5].



Если традиционно Даниил понимался как реальная личность и предпринимались разнообразны́е попытки определить его социальное происхождение (холоп, дворянин, скоморох и т. д. [Гудзий, с. 481–82; Будовниц, с. 138–157; Лихачев, 1954, с. 106–119]), то в последнее время получила распространение точка зрения, согласно которой это назидательная антология, возникшая в монашеской среде, а образ Даниила условен, причем личностное начало может иметь отчасти поздний характер, оно могло появиться под влиянием цитат из Псалтири [Бирнбаум, Романчук, с. 576–602; Birnbaum, s. 328–344; Romanchuk, p. 305–322]. А по мнению В. М. Живова, Слово/Моление возникло, вероятно, в скоморошеской среде, но «[э]то, однако, никак не предопределяет последующего статуса текста. С какого-то времени он начинает восприниматься не как памятник игровой книжной культуры, которая, видимо, уже в XIV–XV в. выходит за рамки литературного канона, а в контексте сборников притч и изречений, выполняющих дидактическую функцию» [Живов, 2002б, с. 103–104].

Еще один показательный пример — необычайно высокая оценка исследователями Записки Иннокентия о смерти Пафнутия Боровского — текста, несомненно, маргинального, являющегося своеобразной «заготовкой к житию» и, по-видимому, не воспринимавшегося ни составителем, ни его аудиторией в качестве полноправного явления книжности. «Рассказ изложен литературным языком, но совершенно чужд риторике и по задушевной простоте, по живой изобразительности, с какою рисуются в нем общественные отношения Пафнутия и его характер, один из любопытнейших в древнерусском монашестве, эта записка принадлежит к числу лучших памятников древнерусской агиографии», — писал В. О. Ключевский [Ключевский, с. 207]. А по словам Д. С. Лихачева, это «своеобразное литературное “чудо” XV в. ... налицо такие явления литературного ряда, которые осознанно вступают в литературу значительно позднее. Перед нами как бы бессознательный, стихийный средневековый натурализм. Раньше, чем характер человека был открыт в литературе, здесь перед нами выступает вполне четко обрисованная индивидуальность: волевой, очень решительный человек, необыкновенно сильный и властный, старчески раздражительный и упрямый» [Лихачев, 1987, с. 133]. Но в древнерусской словесности этот текст оказался почти незаметен, существенной роли не сыграл. «В своем каноническом житии Пафнутия, включенном в Великие Минеи Чети, Вассиан в очень незначительной степени использовал Записку И<нно>кентия при описании смерти Пафнутия», — отмечает Я. С. Лурье [Лурье, с. 404]. Это, однако, не мешает ему признавать исключительные литературные достоинства Записки: «Безыскусность и непосредственность изложения при несомненном литературном таланте автора делают Записку И<нно>кентия одним из замечательнейших памятников древнерусской литературы. Некоторыми чертами Записка напоминает такие нетрадиционные произведения, как “Хождение за три моря” Афанасия Никитина и даже Житие Аввакума» [Лурье, с. 405].

Естественно, история литературы, предметом изучения которой является динамика, эволюция, по определению должна интересоваться различиями памятников древнерусской книжности. Однако ситуация, когда в центре внимания оказывается, прежде всего, не типичное, а нетрадиционное (произведения, признаваемые шедеврами, памятниками «первого ряда»), чудовищно искажает реальность и препятствует созданию адекватного историко-литературного описания.

В литературе Нового времени авторы и произведения «первого ряда» обычно задают образец, канонизируются, а затем этот литературный канон взрывается, преодолевается. Таков случай М. В. Ломоносова как создателя канона торжественной оды, затем трансформированного Г. Р. Державиным. Аналогична роль В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова — творцов «элегического стиля», усвоенного и развитого А. С. Пушкиным и поэтами его поколения, а после Пушкиным же «преодолеваемого»¹⁷. А «Кавказский пленник» Пушкина — первая русская

¹⁷ Ср. разные трактовки этого стиля («школы гармонической точности», по выражению, принятому Л. Я. Гинзбург) и его рецепции А. С. Пушкиным: [Жуковский, с. 4–149; Гинзбург, с. 19–50; Вацуро; Проскурин].



«байроническая» поэма — сформировал канон жанра русской романтической поэмы¹⁸. В Новое время эволюция литературы во многом, если не в главном, определяется именно первостепенными писателями, и поэтому, несмотря на справедливые протесты русских формалистов против традиционного описания этой эволюции как «истории генералов» (ср.: [Эрлих, с. 262 и сл.]), такой историко-литературный подход во многом оправдан и/или неизбежен. В древнерусской словесности положение вещей было иным, и господство литературных памятников «генеральского ранга» в ее историко-литературных описаниях отчасти выглядит как «засилье». При этом если в изучении литературы Нового времени произведения «второго ряда» оказались на практике реабилитированы хотя бы как почва и фон для шедевров¹⁹, то по отношению к древнерусской словесности этого не произошло, потому что роль фона либо и так представляется ясной, либо — в случае с уникальными произведениями — фон попросту отсутствует.

Не менее существенная проблема — вопрос об исследовательском языке, необходимом при описании эволюции древнерусской словесности, и, соответственно, о критериях ее периодизации. Если при описании эволюции литературы Нового времени традиционно используются такие категории, как литературные направления / литературные стили, последовательно сменяющие друг друга, и периодизация часто производится именно по этому признаку, то в историях древнерусской словесности направления и стили как признак, разграничивающий разные периоды, обычно не выделяются; периодизация, как правило, строится на основе внешних словесности критериев — исторических и социально-политических — либо на условном хронологическом принципе (деление на века). Наиболее яркое исключение — концепция Д. С. Лихачева, выделившего в истории русской средневековой литературы несколько сменявшихся стилей: стиль исторического монументализма (включавший в себя элементы эпического стиля), экспрессивно-эмоциональный стиль («плетение словес», русское Предвозрождение), «второй монументализм», барокко²⁰.

Концепция литературных направлений/стилей, несмотря на свою распространенность в исследованиях, посвященных литературе Нового времени, вызывает серьезные сомнения и подвергается обоснованной критике. Во-первых, признаки литературного направления/стиля *de facto* выделяются на примере творчества какого-то одного автора и после этого приписываются ряду других (различия игнорируются или — реже — трактуются как проявления авторского своеобразия); во-вторых, критерии, разграничивающие литературные направления/стили, не являются достаточно строгими; в-третьих, часто происходит смешение деклараций из литературных манифестов, в которых провозглашается то или иное направление, с литературной реальностью — несоизмеримо более запутанной и пестрой²¹.

¹⁸ См. прежде всего: [Жирмунский, с. 9–356].

¹⁹ Примеры истории литературы без «генералов», когда «великие» и «малые» рассматриваются в общем ряду, немногочисленны, но существуют. Такова, в частности, книга [Вайскопф].

²⁰ Наиболее полно эта концепция представлена в работе [Лихачев 1973]. См. также: [Лихачев, 1987, с. 26–97, 151–157; Лихачев, 1986а, с. 7–56]. О других концепциях периодизации см., например: [Каравашкин, с. 27–28].

²¹ Ср. некоторые примеры критики концепции литературных направлений: [Лотман, 1996, с. 123–147; Песков, с. 311–317]. Весьма красноречивый пример — акмеизм, декларируемая принадлежность к которому объединяла очень разных поэтов, так что современный исследователь ради сохранения этого термина был вынужден ввести понятие трех кругов акмеизма, причем принадлежность к первым двум определяется признаками биографическими, а к третьему — общностью поэтики [Лекманов, с. 9–16]; при этом М. А. Кузмин, по своей поэтике несомненный акмеист, обычно оказывается за пределами течения (ср.: [Там же, с. 45–50]). Ср. о поэтике акмеистов в «узком» смысле слова и о поэтике Кузмина: [Левин, Сегал, Тименчик, Топоров, Цивьян, с. 47–82]; показательно, что авторы статьи заменяют понятие «акмеизм» новообразованным термином «семантическая поэтика». Одним из наиболее выразительных и удачных опытов описания литературного направления (течения) исходя из самоидентификации, принятой самими авторами, являются работы А. Ханзен-Леве, посвященные русскому символизму (см. прежде всего: [Ханзен-Леве, 1999; Ханзен-Леве, 2003]). Объединение весьма непохожих по своей поэтике текстов в один историко-литературный феномен — символизм — происходит при этом часто на основе черт, признаваемых доминантными, но в художественной структуре нередко оказывающихся периферийными. Поэтика так называемых старших и младших символистов обнаруживает различия в *определенном отношении* большие, чем система мотивов и приемов, например, младших символистов и Ф. И. Тютчева.

При таком же подходе к древнерусской словесности выявляются иногда аналогичные препоны. Так, понятие стиль «плетение словес», с одной стороны (при очень строгом подходе), применимо к очень ограниченному кругу памятников, в большинстве своем связанных с именем Епифания Премудрого (жития Стефана Пермского и Сергия Радонежского, а также иногда приписываемое Епифанию Слово о житии Дмитрия Ивановича); с другой — учитывая, что приемы «плетения словес» обнаруживаются не только в книжности периода второго южнославянского влияния, и обнаруживаются, бесспорно, вне какой-либо связи с исихазмом²², — этим понятием можно охарактеризовать огромные пласты книжности, начиная с отдельных текстов Священного Писания, святоотеческой гомилетики и гимнографии. К тому же у самого Епифания выражение «плетение словес» обладает определенными пейоративными коннотациями и потому может употребляться в качестве элемента исследовательского метаязыка только с обязательными оговорками (см.: [Пиккио, 2003а, с. 650, 652; Пиккио, 2003б, с. 660; Bodin, с. 48–62]).

Но описание эволюции древнерусской словесности в категориях стилей/литературных направлений имеет и свои, особенные изъяны. Во-первых, ряд стилиевых признаков выделен Д. С. Лихачевым безосновательно. Так, он утверждает, что чертой стиля монументального историзма является интерес исключительно к лицам высокого сана, из светских — исключительно к князьям, причем «[к]аждый князь увековечен в своем как бы идеальном, вневременном состоянии... В характеристиках князей нет никаких оттенков и переходов, создающихся противоречиями внутренней жизни. Все добродетели князя точно определены, все пороки его исчислены... Летописцы... пишут так же, как и иконописцы, — изображения для поклонения или, напротив, для осуждения» [Лихачев, 1987, с. 33]. В действительности число исключений из этого «правила» в памятниках первых веков древнерусской литературы просто вопиет против этого утверждения. Повесть временных лет под 6522 г. сообщает об отказе Ярослава Мудрого платить дань отцу в Киев, а после, под 6544 г., о заточении им оклеветанного брата Судислава — для поклонения или для осуждения создан летописный портрет этого князя, прославляемого притом как боголюбец-храмосозидатель? Как относиться к Ярославу и его брату Мстиславу и их кровавой борьбе за власть? Деяния Владимира Мономаха, безусловно, в целом приносят благо Русской земле, но он узурпировал отчий град Чернигов у Олега Святославича, который, хотя и приводил половцев на Русь, вовсе не нарисован черной краской (его прямая оценка в летописи попросту отсутствует). Отец Мономаха Всеволод Ярославич удостоился панегирического некролога, но в этой же статье 6601 г. утверждается, что князь «нача любити смыслъ уных, свѣтъ творя с ними: си же начаша заводити и, негодовати дружины свояе первыя и людем не доходити княже правды, начаша ти унии грабити, людий продавати, сему не вѣдущу в болѣзнях своих»²³.

Во-вторых, за признаки конкретного стиля эпохи иногда принимаются свойства, присущие средневековому искусству и/или словесности в целом. Так, по Д. С. Лихачеву, искусство исторического монументализма «стремилось простыми средствами выразить величие божественного, мудрость мироустройства и всеобщую символическую связь явлений», «устройство храма символически напоминало об устройстве Вселенной и “малого мира” — человека», а «изображения служат молитвенному общению с прихожанами», и потому лики Христа, Богородицы, святых «обращены к зрителю» [Лихачев, 1987, с. 67]. В действительности это, конечно, свойства всей средневековой архитектуры и иконописи.

²² Связь этого стиля с исихазмом, сформировавшимся в XIV столетии, декларировал Д. С. Лихачев. Обзор идей исследователей, демонстрирующих широкое распространение «плетения словес», и аргументацию утверждения о наиболее интенсивном употреблении приемов «плетения словес» только в нескольких памятниках древнерусской словесности конца XIV — первой трети XV в. см. в моей статье: [Ранчин, 2008, с. 334–338].

²³ Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д. С. Лихачева; Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1996. (Серия «Литературные памятники»). С. 92.



В-третьих, к чертам того или иного стиля Д. С. Лихачев может относить действия и жесты изображаемых людей, диктуемые реальным, а не литературным этикетом поведения (например обыкновение князя первым начинать битву, «ломаю» копьё). Причисление таких событий/эпизодов к признакам стилевым неправомерно.

Но главное: в отличие от концепции стилей / литературных направлений Нового времени, основанных на самосознании, присущем литературе соответствующих периодов, на внутренней точке зрения («романтизм», «реализм», «натурализм», «модернизм» все-таки понятия, характерные для метаязыка писателей этих периодов) в описании динамики древнерусской словесности «внешней» оказывается не только терминология. В самосознании древнерусских книжников отсутствует само представление о стилях как о сложной системе мотивов и соответствующих им приемов. Древнерусские книжники создавали свои произведения, не стремясь реализовать установки того или иного стиля: у них не было художественных программ, они не составляли литературных манифестов. Признаки стилей, обнаруженных в древнерусской словесности Д. С. Лихачевым, не складываются, вопреки утверждению исследователя, в системы. Показательно, что он, с одной стороны, связывает стадиальные стили, стили эпох с определенными жанрами (летопись тяготеет к стилю исторического монументализма, агиография — к экспрессивно-эмоциональному стилю), с другой же стороны, признает существование самостоятельных «жанровых» стилей (летописного, житийного) и при этом обнаруживает в произведениях того или иного жанра сочетание разных стадиальных стилей. Показательный пример — утверждение Д. С. Лихачева о доминировании стиля исторического монументализма в Борисоглебской агиографии [Лихачев, 1987, с. 97]. Хронологически эти жития действительно принадлежат эпохе, когда, как считает исследователь, господствовал этот стиль, однако одно из них, Сказание о Борисе и Глебе, содержащее внутренний монолог исполненного сомнений и борений Бориса и трогательное моление юного Глеба, обращенное к убийцам, по эмоциональной установке превосходит все памятники, причисляемые Д. С. Лихачевым к экспрессивно-эмоциональному стилю XIV—XV в.

Не случайно также, что ряд признаков того или иного стиля, выделяемых Д. С. Лихачевым, является скорее исследовательским конструктом, нежели реальностью текстов. Ученый выделяет широту пространственного охвата как признак стиля исторического монументализма (прежде всего, на примере летописей), хотя это не стилевой прием, а случайное следствие соединения известий о событиях в разных концах Руси — следствие общерусской летописной установки. По мнению Д. С. Лихачева, стиль исторического монументализма в летописях характеризуется стремлением к связыванию событий из жизни князей в единую «биографию», в то время как для эпического стиля характерно сращивание образа князя с каким-то одним поступком (для Вещего Олега это взятие Царьграда, для Ольги — месть древлянам). Но это различие определяется всего лишь гетерогенной природой раннего летописания. Изображая первых князей, летописцы за недостатком сведений о них преимущественно ограничивались историческими преданиями в широком смысле слова, а в этих преданиях образы князей представляли в неразрывной связи с их единичными деяниями. Свидетельства же о князьях позднейших времен, бывших современниками книжников, были многочисленными и разнородными, что и препятствовало складыванию единого сюжета о том или ином из этих правителей: «детали» стали превалировать над цельностью образа.

Кроме того, предложенная Д. С. Лихачевым классификация стилей не способна охватить все пространство древнерусской словесности. Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона или проповеди Кирилла Туровского хронологически принадлежат эпохе исторического монументализма, но лишены элементов, приписываемых этому стилю ученым. Большая часть

агиографии (за исключением нескольких житий, относимых к экспрессивно-эмоциональному стилю) оказывается вне рамок этих стилей. Тем более ни с одним из этих стилей не соотносятся произведения таких авторов, во многом ломающих традицию, как Иван Грозный или протопоп Аввакум²⁴.

Стиль / литературное и художественное направление формируется в истории культуры в условиях, когда возникает возможность осознанного выбора между разными традициями; для складывания стиля нужна альтернатива. Стиль появляется «на третье», после «первого» и «второго». Необходимо существование двух разных типов культуры, в том числе словесности, еще не рефлектирующих по поводу своих отличий, чтобы в результате появился стиль как феномен отталкивания от ближайшего типа культуры — через осознание своей непохожести на предшественника. Древнерусская словесность складывалась «на пустом месте», перед ней не было такой альтернативы.

Стиль обращается от «отца» к «деду». Ренессанс создается в ситуации выбора между Средневековьем и Античностью: он апеллирует к искусству древних Греции и Рима, отвергая «темные века»; барокко возрождает средневековые традиции, но делает это — в отличие от Средневековья, не знавшего, что оно Средневековье, — уже осознанно, в соответствии с отчетливой эстетической программой, «отворачиваясь» от ренессансной поэтики. Классицизм отбрасывает барочную поэтику, обращаясь, как он считает, к поэтике античной. Романтики, отворачиваясь от классицизма, как бы возрождают элементы средневековой и барочной культур. Реализм на новом этапе декларирует классицистический принцип подражания природе, модернизм «отбрасывает» реалистическую поэтику и ориентируется на поэтику романтическую²⁵. Закономерность смены стилей впервые явно нарушает постмодернизм — «постлитература», «отрицающая» всю предшествующую традицию и одновременно превращающая ее в свой интертекст. Эта схема грешит примитивизмом, упрощением, как и вся концепция литературных направлений, но к литературе Нового времени она хотя бы условно применима. Описать средневековую словесность в таких категориях, как литературные направления/стили, попросту невозможно²⁶. От таких попыток следует отказаться. Эволюция древнерусской книжности, разнообразной и разнородной, может быть описана только по нескольким параметрам — таким, как трансформации мотивов и появление новых тем, развитие элементов домысла и вымысла, динамика различных типов текстов («жанров»), изменения образного словаря и символики, принципов цитации и т. д. При этом самая простая и логически небезупречная периодизация (словесность Киевской Руси, словесность Московской Руси, литература XVII в.) представляется пока что наиболее адекватной.

²⁴ Экстравагантная мысль о принадлежности сочинений Аввакума к барокко (А. А. Морозов, А. В. Михайлов), по-моему, безосновательна; см. ее критику: [Ранчин, 2007, с. 256–261; Сазонова, с. 30].

²⁵ Ср. попытки описания динамики литературы и искусства в бинарных оппозициях (ренессанс — барокко Г. Вёльфлина, классицизм — романтизм В. М. Жирмунского, первичный и вторичный стили в концепции И.-Р. Дёрнинга-Смирновой и И. П. Смирнова, отчасти развивающих идеи Д. С. Лихачева, и т. д.).

²⁶ Соответственно, абсолютно бессмысленными являются и все дискуссии о художественном методе древнерусской литературы: это понятие (вообще, на мой взгляд, малоплодотворное), соотносимое с понятием литературное направление, предполагает также сознательный эстетический выбор автора. Некоторые произведения русской литературы XVII в. действительно принадлежат к такому стилю, как барокко. Но лишь потому, что не относятся к средневековой традиции. В этих барочных произведениях реализуется художественная программа европейского барокко (ср. о ней прежде всего: [Панченко; Сазонова]). Намного более проблематичным представляется отнесение к барокко комической словесности XVII в., как это делает И. П. Смирнов [Смирнов, с. 371–379], — независимо от того, что в ней можно найти вроде бы барочные элементы. Совершенно не очевидно, что в России эти элементы воспринимались как признак барочной установки, так как комическая словесность едва ли воспринималась в контексте западноевропейской барочной эстетики (в отличие от образцов высокой литературы — пьес раннего русского театра или виршей).

Литература

- Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние двух творческих принципов) // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 13–75.
- Адрианова-Перетц В. П., Еремин И. П. Жития // История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1941. Т. I. Литература XI – начала XIII века. С. 315–346.
- Бирнбаум Х., Романчук Р. Кем был загадочный Данил Заточник? // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. L. С. 576–602.
- Бугославский С. А. Текстология Древней Руси. М., 2007. Т. II. Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе.
- Будовниц И. У. Памятник ранней дворянской публицистики (Моление Даниила Заточника) // ТОДРЛ. М.; Л., 1951. Т. VIII. С. 138–157.
- Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М., 2012. (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 109).
- Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994.
- Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000.
- Гинзбург Л. О лирике. Изд. 2-е, доп. Л., 1974.
- Гончаров А. И. Энтелехия юродства в «Слове» Даниила Заточника // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Филология. Журналистика. 2004. № 1. С. 92–102.
- Гудзий Н. К. К какой социальной среде принадлежал Даниил Заточник // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности А. С. Орлова. Л., 1934. С. 481–482.
- Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. [Изд. 3-е]. М., 1995.
- Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. М., 2001.
- Живов В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема // Живов В. М. Разыскания в области истории и предьстории русской культуры. М., 2002. С. 187–305. (Живов, 2002а)
- Живов В. М. Особенности рецепции византийской культуры в древней Руси // Живов В. М. Разыскания в области истории и предьстории русской культуры. М., 2002. С. 73–115. (Живов, 2002б)
- Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин: Из истории романтической поэмы // Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы / Отв. ред.: М. П. Алексеев, Ю. Д. Левин; Изд. подгот. Н. А. Жирмунской. Л., 1978. С. 9–356.
- Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Каравашкин А. В. Литературный обычай Древней Руси. М., 2011.
- Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник / Под ред. В. Л. Янина; Изд. подгот. А. И. Плигузов и В. Л. Янин. М., 1989. [репринтн. воспр. изд.: М., 1871].
- Конявская Е. Л. Древнерусская словесность в литературном процессе // Филология в системе современного университетского образования. Материалы межвузовской научной конференции. [Вып. 4]. М., 2001. С. 3–6. (Конявская, 2001)
- Конявская Е. Л. О «границах» древнерусской литературы (летопись: писатель и читатель) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. № 2 (12). С. 76–80. (Конявская, 2003)
- Конявская Е. Л. «Границы» древнерусской литературы и проблема жанров // Жанры и формы в письменной культуре средневековья М., 2005. С. 248–260. (Конявская, 2005)
- Левин Ю. И., Сегал Д. М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. 1974. Vol. 7–8. С. 47–82.
- Лекманов О. А. Книга об акмеизме // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. С. 7–184
- Лихачев Д. С. Социальные основы стиля «Моления» Даниила Заточника // ТОДРЛ. М.; Л., 1954. Т. X. С. 106–119.
- Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973.
- Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе / Отв. ред. О. В. Творогов. Л., 1986. С. 7–56. (Лихачев, 1986а)
- Лихачев Д. С. Предпосылки возникновения жанра романа в русской литературе // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе / Отв. ред. О. В. Творогов. Л., 1986. С. 96–112. (Лихачев, 1986б)



- Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси // Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. III. С. 3–164.
- Лотман Ю. М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. IV (XVIII – начало XIX века).
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 14–285.
- Лурье Я. С. Иннокентий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI вв.). Ч. 1. А–К / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1988. С. 404–405.
- Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973.
- Песков А. Зачем нам нужны «-измы»? (Заметки о литературных направлениях) // Вопросы литературы. 1991. № 11/12. С. 311–317.
- Пиккио Р. «Поэтика моления» Елифания Премудрого (пер. с англ. О. Беловой) // Пиккио Р. *Slavia Orthodoxa: Литература и язык* / Отв. ред. Н. Н. Запольская, В. В. Калугин; Ред. М. М. Сокольская. М., 2003. С. 671–688. (Пиккио, 2003а)
- Пиккио Р. «Плетение словес» и литературные стили православных славян (пер. с итал. Н. Миляевой) // Пиккио Р. *Slavia Orthodoxa: Литература и язык*. С. 647–670. (Пиккио, 2003б)
- Пиккио Р. *Slavia Orthodoxa: Литература и язык* / Отв. ред. Н. Н. Запольская, В. В. Калугин; Ред. М. М. Сокольская. М., 2003. (Пиккио, 2003в)
- Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237). Изд. 2-е, испр. и доп. для русского перевода / Пер. А. В. Назаренко под ред. К. К. Акентьева (*Studia Byzantinorossica*. Т. I). СПб., 1996.
- Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.
- Ранчин А. М. В защиту «сталиниста» Н. К. Гудзия, или Какой может и не может быть история древнерусской словесности // Новое литературное обозрение. 2003. № 59 (1). С. 571–589.
- Ранчин А. М. Проблемы барокко и сочинения Аввакума // Ранчин А. М. Вертоград златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 90). С. 256–261.
- Ранчин А. М. «Житие Стефана Пермского» // Литература Московской и домосковской Руси: Аналитическое пособие / Отв. ред. А. С. Демин. М., 2008. С. 321–338.
- Ранчин А. Древнерусская словесность и ее интерпретации: Маргиналии к теме. Saarbrücken, 2011.
- Ранчин А. М. Путеводитель по «Слову о полку Игореве». М., 2012.
- Сазонова Л. И. Литературная культура России: Раннее Новое время. М., 2006.
- Смирнов И. П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории // Смирнов И. П. Мегаистория. М., 2000. С. 197–486.
- Трубецкой Н. С. «Хождение Афанасия Никитина» как литературный памятник // Семиотика: Сборник статей / Сост., вступ. ст. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М., 1983. С. 437–461.
- Трубецкой Н. С. Лекции по древнерусской литературе (пер. с нем. М. А. Журиной) // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык / Вступ. ст. Н. И. Толстого и Л. Н. Гумилева; Сост., подгот. текста и коммент. В. М. Живова. М., 1995. С. 544–616.
- Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Отв. ред. В. А. Каверин и А. С. Мясников; Изд. подгот. Е. А. Тодес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова. М., 1977. С. 255–270.
- Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд., испр. и доп. М., 2002.
- Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950–1300 гг.) / Пер. Д. М. Буланина; Отв. ред. Д. М. Буланин. СПб., 2010.
- Ханзен-Леве А. Русский символизм: Система поэтический мотивов: Ранний символизм / Пер. с нем. С. Броммерло, А. Ц. Масевича и А. Е. Барзаха. СПб., 1999.
- Ханзен-Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов: Мифопоэтический символизм: Космическая символика / Пер. с нем. М. Ю. Некрасова. СПб., 2003.
- Эрлих В. Русский формализм: История и теория / Пер. с англ. А. В. Глебовской; Научный ред. В. Н. Сагин. СПб., 1996.

- Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
- Birnbaum H. Das Molenie Daniila Zatočnika und das Problem seiner Genrezugehörigkeit // Zeitschrift für Slawistik. 1997. T. XLII. No 3. S. 328–344.
- Bodin P.-A. Eternity and Time: Studies in Russian Literature and Orthodox Tradition. Stockholm, 2007.
- Lenhoff G. Toward a Theory of Protogenres in Medieval Russian Letters // The Russian Review. 1984. Vol. 43. No 1. P. 31–54.
- Lenhoff G. Categories of Medieval Russian Writing // Slavic and East European Journal. 1987. Vol. 31. No 2. P. 259–271.
- Lenhoff G. The Martyred Princes Boris and Gleb. A Socio-Cultural Study of the Cult and the Texts (UCLA Slavic Studies. Vol. 19). Columbus, Ohio, 1989.
- Revelli G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. Литературные памятники о Борисе и Глебе. Genova, 1993.
- Romanchuk R. An Unpublished Florilegium of Efrosin of Kirillov and the Supplication of Daniel the Exile // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 2003. Vol. 44-45. P. 305–322.